

БИБЛИОТЕКА АЛЬМАНАХА
«СЛОВЕСНОСТЬ»

Книжная серия
«Визитная карточка литератора»

ИНГРИД КИРШТАЙН

БЕЗОТВЕТНОСТИ

стихотворения

СОЮЗ ЛИТЕРАТОРОВ РОССИИ
МОСКВА

Вест-Консалтинг
2014

Ингрид Кирштайн
Безответности. Стихотворения.
М.: Вест-Консалтинг, 2014. – 44 с.

ISBN 5-86676-067-3

В оформлении обложки использованы работы
художника Сергея Орлова
«Ромашка» (графика) и «Единорог» (шрифтовой рисунок)

Вторая книга стихов поэтессы полна литературоцентричных и культурологических реминисценций, а порой и мистификаций; тончайшие картины природы незаметно перетекают в нюансировку пейзажа души... И всё это вместе превращается в признание в любви. Безответной, мучительной и счастливой любви – не только и не столько к человеку, но ко всему непостижному Божьему миру: *«Это здесь мерцала душа, становясь письмом. / Безнадежной надеждой, бабочкой сверх огня. / Этот почерк горел и тек, как не скажешь ртом, / словно мох сквозь камни, вращая в тебя, в меня...»*.

- © Ингрид Кирштайн, текст, 2014
- © Тавров А. М., предисловие, 2014
- © Орлов С. Ю., рисунки, 2014
- © Союз литераторов России, идея издания, 2014
- © Вест-Консалтинг, оригинал-макет, вёрстка, 2014

АНТОЛОГИЯ (НЕ)ВЫМЫШЛЕННОГО СУЩЕСТВА

Одной из самых интересных книг, которые я когда-либо держал в руках, была «Антология вымышленных существ». Чем больше вникаешь в невероятные формы всех этих русалок, мантикор, гарпий, единорогов, сфинксов, тем больше они тебя зачаровывают и не то чтобы уведут в сказку или в какую-то фантастическую страну, но скорее направляют воображение и интуицию в сторону некоторой реальности, столь простой и глубокой, что она не дается будничному взгляду, убегает от зрения, выучившегося контакту с миром на самых обычных и повторяющихся изо дня в день, надоевших, зато безопасных образцах. Можно вспомнить остроумное замечание Рильке о том, что единорога никто не видит, потому что не знает, как он выглядит на самом деле.

Может быть, эта анатомическая фантастика бестиариев и служит цели привлечь внимание к существам, которых мы не видим, потому что не знаем, как они выглядят «на самом деле». А соприкоснувшись с этими странными, «топорщащимися» формами, начинаем догадываться, что возникли они не на пустом месте, что за ними расположено что-то, чрезвычайно нужное нам – может, от того, что трогательное, или спасительное, или вдохновляющее к новой жизни и новым открытиям, а может, предупреждающее об опасности, хоть мы этого не видим. Но можем увидеть, если остановимся и взглянемся.

В центре книжки Ингрид Кирштайн находится образ, который принято называть «лирическим образом героини», но мне не хотелось бы этого делать. Понятно, что такой образ поэтического собрания располагается где-то между автором, читателем, бытом, воображением и культурой и всецело не относится ни к одной из этих «территорий», хотя и соприкасается с каждой. К тому же героиня этих стихотворений как раз и не лирична. Она больше спрятана, чем обнаружена. Она мерцает. В общем, она является нам как уловимо-неуловимый персонаж, наподобие того самого Единорога, про которого все знают, но никто его не видел. Двойная жизнь героини, в полном смысле этого слова, – кажется, принципиальный подход к той поэтике автора, в которой эта героиня существует.

Второе, что объединяет книжку с рассказом о вымышленных существах, это ее, книжки, сплошная и сквозная эклектичность.

*Нет, серьезно, бывает, что и Муза расплчется,
и вплетется в строчки что-то вроде души,
а примета верная – след слезы обозначится,
значит, просто стихи уже – не свои, не чужие.*

*Вот, сплошная эклектика. Хоть, как «ню», простая.
Пожалеть бы зеркало в помрачении льда.
Но без вороха слов разве кто узнает,
что под черной дырой угнездилась звезда?*

«Сплошная эклектика» – говорит о своих стихах и своей героине автор. В чем же эта эклектика выражена? Прежде всего, в смешении

стилистик, поэт, языковых стилей. Создается такое ощущение, словно пласт русской поэтической культуры, расположившейся в хронологической последовательности, внезапно взорвали, и все приметы и осколки эпох, манер и словарей перемешались, зависли в воздухе и предлагают автору воспользоваться ими без учета какой-либо классификации или принадлежности к определенному стилю.

*...Экстаз перемолчанья
Нагую молнию под лунный лед упрячет.*

*О тонкость близкая, чья суть, блеснув, исчезла
В молчанья оттепель, под соловьиный морок...
Смотрю в глаза твои – зарок, что столь не зорок,
Мне цвет их – истина, приподнята дизно.*

Поэтика Игоря Северянина сразу же бросается в глаза. И если бы дело ограничилось только ее присутствием, можно было бы говорить о не очень хорошем подражании. Но все обстоит намного более интересно. Если взглянуть внимательнее, то вы увидите здесь и Державина: «нагую молнию под лунный лед упрячет», и Боратынского («О тонкость близкая, чья суть, блеснув, исчезла»), и Мандельштама («Зарок, что столь не зорок»), и вновь Северянина: «приподнята дизно». Державин же присутствует особенно явно – с неологизмами и неожиданными виртуозными ходами, словно бы опередившими возможности современной ему манеры письма.

Речь идет, таким образом, не о подражании, а об определенном поэтическом принципе, сознательно или бессознательно осуществляемом автором на протяжении всей книжки, – где-то более, а где-то менее последовательно. Подобно фантастическому существу, соединившему в своей загадочной форме крылья орла, голову собаки и хвост дракона, такие стихи, являясь, действительно, эклектичными, тем не менее, осуществляют парадоксальным образом завершенное (ну, или почти завершенное) формообразование, цельное и впечатляющее. Словом, эклектика не рассыпается на свои разнородные осколки, но оживает, потому что, сложившись вместе, образовала не скульптуру, а живое существо, способное к продолжению жизни среди остальных «невмысленных» персонажей. Словом, в вымышленном Пегасе жизни больше, чем в невмысленном льве. Правда, жизнь эта протекает по несколько другим правилам.

Собственно, речь идет о том, чтобы увидеть невидимое.

*Но без вороха слов разве кто узнает,
что под черной дырой угнездилась звезда?*

Узнать невидимую жизнь, расположившуюся за «черной дырой» нашего автоматического восприятия. Обнаружить ту реальность, на существование которой указывают обитатели «Зоологов» и «Антологий вымышленных существ». Поэтика – та же самая. Только на месте крыльев, хвостов и перьев в стихотворениях Ингрид Кирштайн располо-

жились осколки разных поэтик и сложившийся воедино (приняв форму стихотворения), раздробленный, как стекло, образ мира.

Слова трудно и непривычно соединяются во фразы и строфы в этих стихотворениях. Такое ощущение, что прежде в таком порядке и в таком контексте многие из них не употреблялись – и это примета авангардного стиля. Иногда приходится делать усилие для того, чтобы досмотреть строфу до конца, выявить ее значение, но оно того стоит. Неожиданные смыслы – всплывают, удивляют, ворожат.

Но если в Бестиарии речь все же идет о животных, то в книге мы имеем дело с человеком, но с человеком необычным. Тот смысловой взрыв, который развеял по ветру зеркальные осколки разнородных стилей и стихов, – словно вживился в само тело героини. Больше того, без этого вживления стихотворение бы не ожило, не сложилось в существо, не замкнулось бы вокруг собственной жизни. Источник питания, источник жизни стихов – это запрятанное в дереве тело дриады, гонящее кровь через строки и строфы, которые только и живы, что этим сердцебиением.

*Вот теперь, наглотавшись химических едких похвал,
я страдаю вдвойне.*

*Жалкий ранний мой цвет
ты – до одури ранний! – сорвал
и забыл по весне.*

*Что с того, что в слезах хороша и в листве,
и поет соловей
о глубоких корнях, о проявленной вглубь синеве
по сирени моей.*

*Ты узнал меня в дни неумной пустой болтовни
воробьев на ветру...*

(«Дриада»)

Такое тело скорее напоминает фантастические кадры из фильмов о будущем, где сочетается робототехника, бионика и живой человек.

Недаром в стихах так часто встречаются разбитые зеркала и «черепки разбитостей нарядных». Но это снаружи. Внутри живет источник жизни: звезда или душа – но, конечно же, это – слова-коды, слова символы. Именно от этого источника расходятся слова, потом – более материальные вещи, тела, трамваи, все остальное БОЛЬШОЕ СУЩЕСТВО в такой вот последовательности:

*Это здесь мерцала душа, становясь письмом.
Безнадежной надеждой, бабочкой сверх огня.
Этот почерк горел и тек, как не скажешь ртом,
словно мох сквозь камни, врасстая в тебя, в меня.*

*Все, что будет, – трамвай, трава, соловьи, слова, –
Малостранский остров запущенных вглубь корней
обтечет. Тональность правды поймать сперва
и в дорожках кладбища грусть заплести живею.*

И прежде всего надо поймать «тональность правды». Сегодня в поэзии это процесс мучительный и небезопасный. Правда, искренность, подлинность, о которой Конфуций, например, знал, что именно она движет звездами, волнами и людьми, сегодня стала лишним словом. Говорить о таких вещах в стихах всерьез – это подставлять, это терять свою защищенность, это повод быть обвиненным в дурном вкусе.

Героиня стихов – искреннее, живое и незащищенное существо. Но жизнь, которая плещется в ней, не может быть спрятана. Тем не менее, она зашифрована. К святыне не должны вести легкие пути – чтобы добраться до Грааля, нужно решить множество задач и совершить множество усилий. До какой-то степени из них Грааль и рождается. Поэтому в стихах вы столько раз обнаружите слово «след»: «а примета верная – след слезы обозначится», «теплился след змеи», «кристаллик следа тоски», «и я кутаюсь в сказанных слов следы» и так далее. Зачем же столько следов, неявных форм присутствия того, главного, о чем напрямую сказать нельзя? К чему или к кому эти следы ведут? Да к самой жизни героини, к звезде, спрятанной за ворохом слов.

Есть вещи неназываемые, выявить которые целесообразней как раз при помощи не указки, а маскировки. При помощи зашифрованности поэтики. При помощи почти что самопародии, почти что срыва в дурной вкус. Вот тут-то и возникает это трогательное и грациозное чудовище поэзии – огромный неуклюжий дикобраз, который словно не знает, куда ему девать свои колючки, не столько прячущие его, сколько выявляющие. А если всмотреться пристальнее, то мы увидим не колючки и шерсть, а тонкое женское лицо, усталое, но полное жизни, замкнутое, но бесконечно отзывчивое, ранимое, но идущее на риск открываться вновь и вновь. Его не всегда легко распознать за ворохом иносказаний, не прямой речи, обмолвок, имитаций, цитат и пародий – но все это «следы» и «знаки», ведущие к тому, что неназываемо.

*истаивают спутники и знаки
то бабочки билетов театральных
то скомканные пленки и перчатки
то суетные в храмах города*

*три лошади утопленные в лаке
с красоткою в объятьях пасторальных
сквозь зеркало под ними без оглядки
лишь серая полночная звезда*

И даже сами знаки способны истаять, потому что время уносит всё. Но кое-что остается, всему вопреки. То, что неподвластно распаду. Что именно? Думаю, что прочитав стихи Ингрид Кирштайн, читатель сумеет сам ответить на этот вопрос.

Андрей ТАВРОВ

Цирк Безответности

БЕЗ

Неужели это я? Опять? Лезу по лесам безответности
за полусердечком-безе?

Прячась от прозрачной и звонкой перспективы «ничего»
и «никогда».

Увы. Не став ловчее, я это делаю уже больше по привычке,
не питаю надежды даже стать со временем цирковой
обезьяной.

Просто я зачем-то боюсь совсем разучиться...

ОТВЕТ

Сами мы условны, как день и ночь.

«Да» и «нет» бескрайни, как сон во сне.

Безответность, если молчать невмочь,
ниспошлет вдруг отзвездь на самом дне.

Разве слезы не красивее улыбок, а молчание – слез?

Вчувствуйся.

Презентация безответности – это твой шанс!

НОСТЬ

О прозрачность, переходящая в щемящую звездную ночь,
я теперь твоя ость, бестелесный коралл.

Сквозные взаимно-безответные сущности, просачиваясь
друг сквозь друга,

постигают, какая неразменная вечность царит здесь,
под куполом.

Эвридикая Арфа Орфея. Зерна соли сквозной.

Черновик романа

Воздухом весны средь зимы
полнится Москва через край.

Сердцу нет ни ночи ни дня
вызвенеть неволю-тюрьму.

Ни тебе лесов кутерьмы...
Трели вместо крыл распластай,
мучая, томясь и звеня –
стряхивая слез «почему».

Сад зонтов

В офисном зимнем саду –
вымокших зонтиков клумба,
Яркие тропики шелка.
Куколок бал выпускной.
Многоязычные леди
в ярких прелестных улыбках.
Все на Париж горизонты.
Скромный планктоновый рай.
Куплено полное право
жить мимо неба с дождями
зонтиков бедных слезами.
В общем-то, больше ничем.

Париж мечты

О весна всех зим, Париж! Поить верблюда
акварелями и – на всю жизнь – огнями...
Розоперстого утра хватить с полпуда,
черновыми прорасти насквозь мечтами,

шпильки-шпили утопить в потоке лени.
Опрокинутая ласточка-на-Сене –
только помесь всех парфюмов в одночасье
или мертвая петля поверх Пегасья?

* * *

*От жажды умираю над ручьем,
Не говоря «люблю» – сказать «люблю» вам.*

На языке внезапном, тонкокловом.
Смутить ваш слух, но имя – нипочем

не приплетать. Ручей уж подо льдом.
Теперь морзянкой бьется хвост форели,
томимой жаждой долгие недели
пить воздух там, где попросту облом.

О чем бишь я? Ах, жажда, смерть, ручей –
слились мы в пересушенное русло
на мелкодушье. Чьи живые чувства
пропорции кривят былых вещей?

Других ручьев «люблю-переверблю»
да разве утолило бы мне жажду?
Язык примерз к желанию однажды –
оттаять имя. Что им утолю?

Законченности каждый миг страданья?
Рассеянности праздного вниманья?

Скажите мне – мое, или никак
свое вы не услышите, ей-Богу.
Иль к морю в бесконечную дорогу
верну ручью и капли, что в горстях.

От жажды умираю над ручьем –
в вас броситься. Вам стать невинной частью.
Журчанием. Не запредельной страстью.
Тут каждая ведь нимфа – о своем.

Грифонам Марфино

Южный фасад дворца. Лестница. Пруд.
Двести подряд гофроступеней-лет
стражи-грифоны ссылке конца не ждут.
В этом пейзаже тварей привычной нет.

Клекот иль рык, драйв извергать? Орлов
прежних кровей крыл отчуждая всплеск,
каждый из вас когти сорвать готов,
готике дряхлой круг очертив с небес...

Сами вы в дружбе? В ссоре? – В сплошной тиши.
Белых стихов рифмы. Пергамент од
въяве. Вдвоем. Чудо как хороши.
О, львинокрылы, взгляд ваш на юг – полет!

Населена грифонами роща снов.
Вот бы прибиться к стае, узнав своих.
Верю! Мечта – первичнее первооснов –
вязкой реальности пересквозит слои.

Тень медузы

У штильного моря, русалки загара бледней,
медузы прозрачная тень на камне подводном.
Беспомощней даже она солнцеликов над ней,
и толку, что впрямь донырнешь, – как с песенки модной.

Поймать, что ль, медузу: она, чай, не так глубока,
скользнуть языком «ялюблю» – такое же диво.
Купальщицы-Музы притворная ласка – тоска.
О пядь незагара, ожги сквозь пены прилива!

На парусе серфа пригреть ее – тучкой золотой?
Да с плеском отклеится вновь, без лишних метафор.
Прозрачному студню резвящейся нимфы простой
сойти ль за безадресный нимб – светящийся сахар?

Слова, коль не штампы, – уклончивы, словно волна,
а чувства понятны и так, но все же, но все же
мы ищем спасенья от той, что навек – тишина,
в такой вот медузине вплавь, в шагрени без кожи.

Воспоминание о вязе в Середникове*

Т. Виноградовой

Не древо – истый храм-воспомяненье.
Лишь постоять внутри – портал был мощен,
хватало – потерять любую память
о будущем, о прошлом.

Волшебство
прослушивалось в шуме в верхотуре.
(Неявен глас, иль слух приземный груб,
но шепот, перебивчив, всё пророчит.
Твой шепот-шум – в краю Всевышних од.)
Та – внешняя – кора, сафьянно-мшиста,
имела живописное призванье:
в ней прятались немислимые ноздри,
реликтовые раковины, сказки –
русалочки, но в локонах седых.
А гладкая кора слоновой масти –
внутри ствола – была нежнее нёба
и жалобно полировала кожу
неведомым присушенным теплом
нечитанной страницы – проступившей,
впитавшей грозный световой удар
бестрепетно.

Сколь немощная мощь!
Иль дряхлость эта – призрак настоящий?
Одною кожей, толщиной с ладонь
держалась эта дерзостная сущность –
с небес недостижимых ширма-лифт.

Всю сердцевину выжгла страсть Лермонта.
Но листья рассыпались полным лесом
надкупольным. Изнемогая, длани
обрушивались – гулко, по одной,
кладбищенских крестов сминая абрис –
на Пасху. Попирая смертью смерть.

* В дупло оного М. Лермонтов бросал записки, адресованные Е. Сушковой.
(Примечание автора.)

...Истаяло хранителей терпенье.
Раздумчивые ангелы-атланты
тебя освободили от хлопот.
Струится небо там, где ты сиял
вне увязанья – в небе ли, в земле ли.
Сколь горестно твою утратить тень!
Изнанкой внешней плоти изнемогшей,
о, в памяти моей пресуществись!
Живи сквозь нас, как допускал нас в лоно!

Причудливым сплетением дорог –
всех, медленно ступающих к подножью –
Со-бытия минуты проросли.
Небытия пульсирует лишь привкус:
неужто «с этой мыслью я засну»?

Мы, бедные паломники твои,
вовек не получим откровенья:
кого ты выбирал себе в сивиллы,
когда назначен проявленья час,
почто врата живого вдохновенья
растворены, незримые, вотще?

О давняя загадка черных глаз –
насмешница иль верная подруга?
Какой тоски исполнен ветер с юга!
Элегий русло, Лермонтовский Вяз
в эфирах горних. Крона все поет,
теперь сама – обитель вешних од.

последнее прочти

хоть кутайся ты в ветхое то счастье
как снег оно рассыпанный в апреле
в широтах наших дни сочтет гадалка
хоть белое в полнеба обезбрежь

подснежники слепого сладострастья
мы выцвели и стали асфодели
чернила лью не то что слез мне жалко
внезапное то бегство в рыхлый беж

*

истаивают спутники и знаки
то бабочки билетов театральных
то скомканые пленки и перчатки
то суетные в храмах города

три лошади утопленные в лаке
с красоткою в объятых пасторальных
сквозь зеркало под ними без оглядки
лишь серая полночная звезда

*

не надо ворошить перепроченья
не надо повторять непрочных истин
молчанию под стать сугробий панцирь
и мертвой точкой скажется луна

мы всё еще

мы не

мы доуменье

дождалости несбыточная пристань
довынырнула в горьком померанце
давнишняя средьзимняя весна

Глуховская элегия

Здравствуй, прошлое,
ты – лучшее, что в будущем светит.
Обветшалый остов волны модерна
улицы (с инъекций галоперидола)
не Восьмого Марта – Двух Колец Сатурна.
Из крапивы, дочерпывать донный сумрак,
подниму в небесных размывах льдинку.

Черепок мозаики бирюзовой
красоты, лелеемой сквозь проклятье.

Две казармы морозовских, две сестры-наяды.
Всё дворцы сумасшествия с голубятней.
И в бахилах ноги, в пролетах сетки,
и главврач залег бы к себе охотно.
И такая наледь в оттепель, что – колонны театра!
У старинных стен, кои плачут гордо,
притворюсь, как встарь, что ответ не знаю:
победит терпение или мука.

И роддом – модерн, в интерьерах плавных
начиналась жизнь моя. Город Глухов.
Здесь Италию строили; полумертвой
зрит она убожество новой кладки.
Не лекарства дурь – полнота пропорций
веселит душе прозябанья чашу.
Отнесу на кладбище ломтик фриза.
Отчего души не собрать по щепке!

Сон

По пустыне иду.
Камни и камни. Вдруг
чувствую: все они –
каменные сердца.

Каменных смерть надежд.
Каменных слез нужда.
Сколько? Не перечить.
Теплится след змеи.

Страх или стыд? Забудь.
Каждое – свой кошмар.
Ночью и днем – горюч.
Стать, – о, быстрее! – песком.

Ноктюрн

Всей роскоши – остались лишь слова.
Фиалка – рифма бледная к фиаско.
Неверная, чахоточная ласка
Прирученно-больного существа.

Цикада в синих сумерках дерзка,
Раскачивая нимбов коромысла.
О лунная, над грубой ширмой смысла,
Монета неразменная сладка.

Блуждать в названьях сумеречных звёзд,
Пока не растворятся сами взгляды.
Невидимые вспенятся пляеды
Потухших слов. О, многоточий гроздь.

Silentia

Влюбиться – час едва, как музыки – сквозь слово,
надмирного пути мы продолжение суть
проекциями снов. Их языка немного,
вдруг явного. «Проснись. Ты здесь за этим. Будь», –

кричит нам тишина в бессонницы изломах.
«Поддайся наконец, ты чувствуешь? Лови
канцону нежную в рассветах невесомых.
Незримой нотою плеск слов обожестви».

Так явно, что сейчас еще один тренажник
зажжется в темноте заснеженных широт.
Которой из страстей в нас мучимей заложник?
Признайтесь, наконец, – я буду мыслечет.

Дуэт дрожанья рук. Какая рифма к «Тютчев»
богатая? (От «Бог»?) Тревоги слаще нет.

Молчанье слышимо, лишь угадать бы чутье.
Оттока времени струится чудный свет.

Кем стану я для вас? Минутой откровенья
иль ласточкой слепой? Борьба идет не здесь.
Мы тени легкие высокого творенья.
Лишь почерк разобрать. За этим мы и есть.

Вальс-отъезд

Подскажите мне трель, мне уже не хватает брэнчания
предотъездной гитары с ее распрости-распрощай.
Назвалась – филомель, рассыпайся в высях про
отчаянье,
ночь-полночь, полонез «Стук колес» и твой взгляд
через край.

Заливайся, валяй. Только проще, и люди потянутся.
Нам разлука на счастье, а счастьем не будет конца.
Половина вокзальных хитов – будто с горя стоп-кранится –
про полынь голубую, павлинов и полог песка.

Павлины на голом стволе магнолии

Магнолиевый ствол. Павлинья гроздь
в три опахала. Встрепенулось древо.
Назавтра растюльпанятся бутоны,
а нынче вспышки брызжут – ухватить
причудливое таинство, Господь!
Благую весть прими, Святая Дева.
Расцветшая, павлиновой иконы
магнолия, нет слов тебя молить...

* * *

Л. В.

О, пойдёмте на край земли.
Ну, хотя бы ещё полдня.
Все, что в школе мы не прошли,
купы скаредных роз дразня.

Тех же самых дорог, церквей,
толстокнижных кровей Москва
охорашивается и – родней –
что-то значат опять слова.

Я не спрашиваю: что, куда,
почему. Я доверяю на сто,
Просто, если ведёт звезда,
заблуждаешься сам, что

можно просто поймать курс,
без подсказки вломясь в пейзаж.
...Сколько раз угадать тщусь:
а который тут дом – Ваш?

С птичьего

Все к твоим соловьям хочу и своих не слышу.
С битой птицею натюрморт – несвиданья краски.
Сколько перья ни вороши, а душе бы выше:
не элегию в уши – глазки бы только в глазки.

Той же самой луне, листве и весне в округе
взмах импрессионизма – щекотка птичья.
Всплески трелей – размытость тела к душе-подруге.
Лепестки – ну, слезы с ангельского обличья.

Камертона ртуть? Не была быстрее
мельтешня пульсаций в крови березы.
Да и запах клейкий по всей аллее.
Захлебнусь – так арией Прима-Розы...

Розовый куст

Не тот я, кто верит в наплывы чувств,
и Кафку сто лет не читал.

Но вот: из груди торчит розовый куст,
черт бы его подрал.

Наденешь пиджак – так колет и жжет,
а снимешь – дома сиди.

Лечение местное: ножик, лед
и «Падме-хум» на CD.

Подруга, в объятиях прирастешь!

Забудь про меня совсем.

А запах бешеный – не собьешь
мегатройным «LM».

На форуме вычитал: рыжих дев
нарвать поцелуев... Верняк.

Двенадцать чтоб было этих Годив
в вагоне метро – за так.

Забить. И стать дурацким кустом.

Такой уже был, говорят.

Как звали? Осип. Но я не о том.

Люблю, кругом виноват.

Да нет, я справлюсь. И ты не грусти.

Бегом из царства теней!

Торгуешь розой? Давно? Прости.

Всё злобствует пена дней.

В зрачке Байкала

Ольхон.

Хужир.

Бурхан.

Шаманий камень.

В зрачке Байкала миг пробить соринкой –
утопия. Становится лишь каплей,
кто заглянул в купальни глубину.
Прозрачности обитель столь неслёзна
(с чешуйками серебряных ундинок),
что ягодка эфедры – и ликует
душа в полупрозрачной наготе.
Какая тайна – ясность вод священных!
Не перельстить! И ветер преобнимчив,
и, у косы у тонкой, в желтых маках,
жжет щиколотки обруч ледяной.

Хладимых глубей толща неизбывна.
О, пить тебя, всю вечность пить по капле!
Нет, только миг достался мне. Воочью,
той жизни след, реликтовой, – во мне.
Когда восходит солнце над Байкалом,
так чудится: он сам – из солнц давнишних.
Лучей звездообразным поцелуем
таинственности вспыхивает край,
и рая топкий огонь непостижимей...

Гитаночка

Эй, нету больше сил, не сиди же, танцуй!
Вновь молодость верни, красной розою взойди,
Шаг, медленный сперва, жарко-жарко убыстрой.
О девочка на вид, в твоём сердце – смерч страстей.

Жарь, снова как в чаду, саламандрой заискри,
Брось розу-поцелуй, черны косы разметай,
Струн боль перепляши, звон в ушах перетоми,
Дай сумрачной душе комом в горле изойти.

Сквозь сполохи костра выпрыгни на небо – звездой,
Ночь звездная черна, зеркало разбито смерть-в-смерть.
Жизнь, скоро догоришь, будь еще прекрасна, танцуй!
Грусть, пламени волной все мне сердце изгрызи.

Ладонью о ладонь – ритма разматаю клубок.
Мы более не мы, в нас один струится пульс.
Боль, имя твое страсть, стала ты сладка как цветок.
Длись, вейся же пчелой, даже меда не хочу.

Взмах птичьего крыла, шепот рвущихся шелков
До розовой звезды, пятой лопнувшей струны.
Как буду без тебя в вечном таборе бродить?
Знать: больше никогда – все равно, что никогда!

Грудь лучше раздеру, сердце выну, истопчи.
Что, стало горячо? Так полюбишь ли меня?
Трешь яхонт на груди – знать, обман, один обман.
То бабкин амулет, тоже гордая была.

Полуденный туман

Просто осень над озером. Серый день без прикрас.
Но над самой водой,
затмевая берез голоствольных зеркальные образы –
заозерной эльфийки густая фата
в проявлении тающем.
На эльфийском не знаю стиха!
О клубящихся складках по-русски умел
Мандельштам лишь.

Элегия на снежинки, падающие в фонтан*

Римскому другу Ovidiu Varsami

Есть же вещи и менее вероятные, чем ваша смерть,
В шуме подперших небо чашеобразных вод,
Посреди еще не зимы, но уже почти,
В темноте на площади Юности. В фазовый переход
Опуститься, захлебываясь, – избранность или блажь?
Торжество безнадежности – ее колыбельной фаты,
Слезотекущей яви – неужто засахарен ток,
Топких надежд мираж, как с *I Love You* листок.

Будто бы не холод властвует, а слеза –
Водяного пламени ключ под сугробом букв,
Латынь, из-под перьев варварских, – настоящая, хлынь!
Старое чувство верни. Сверху луна. Аминь.

Сон с тобой я видела перед Римом своим,
Сон потонул в зашоренном снегом глазу.
Сколько плещет смирения там, где тепло.
Всюду были фонтаны, в них тают твои шаги.

О шестиугольные, нежные, словно вслух
Произнесенные: «Hopeless», – пятнадцать? Сто?
Ангелы соприкоснулись. С их крыльев пух
Заледенеет в «хоуп», однажды упав в фонтан.
Там молитвой о встрече осядет на дне.

Ты мне будешь рассказывать мой же сон.
Хоплес, хопless, hopeless. Язык пойму.
Только вода струится и снег летит.

* Говорят, что в ночь на 5 августа 352-го года от рождества Христова Римскому Папе Либерию во сне было явление Девы Марии, повелевавшей построить в честь Нее церковь в том месте, где на следующий день выпадет снег. Наутро удивленный Либерий увидел, что Эсквилинский холм весь покрыт снегом. Папа воспринял это как знак свыше и принял решение о сооружении на холме базилики Санта Мария Маджоре. Именно эта легенда объясняет и другое название базилики – Мадонна делла Нева («Богоматерь в снегах»).

Пятое августа. Рим. Эсквилинский холм,
Весь засыпанный снегом. На этой подушке стоит
Санта Мария Маджоре. Римские чудеса
Почуднее еще. Толще снег, и безошибочней сны.

Свидание при мертвых цветах

Я не помню – как шторм перебивчивый ласк –
Антарктида в Гольфстриме, и вся.
Горячо. Только таять и таять. Don't ask.
Осязания больше, чем лъзя.

Ничего, только мертвых цветов антураж,
и ни слов, ни дыханья, ни сил.
Если неба в алмазах разрежен коллаж,
знать, сирен Одиссей пережил.

Что, что, что это было? Алхимия, страсть –
или буря магнитная тел?
Не об этом ли ветер, терзающий снасть,
Одиссеевой мачтой скрипел?

Что там пели сирены, хоть нота одна
нам совпала меж Сцилл и Харибд?
Звезд не знаю числа, но ни ночи ни дна
этим утрам, – лишь бездн манускрипт.

А всего – полнолуния фаза пришла.
Заблудившись в чужом веществе,
ненасытными веками ищут тела
те, кому не ходить по траве.

О, слияние страсти, не знающей слез,
с той, другой, опочившей без ласк.
Венецйская песнь – что сбылось не сбылось –
ты волна, что грозе отдалась.

Нет, не слезы еще, но почти уже боль.
Просверк молнии в гребень волны.
Это сердце до дна заполняет собой
ослепительный танец луны.

Соната

Волны прокатывают. Будто здесь, со мной
неземная мне грусть. Дышит своей луной.
Будто я все живу, водоросль под водой,
будто море лунное надо мной.
Приливает час дрожи и час слезы,
и я кутаюсь в сказанных слов следы,
подбирая к каждому все семь нот.
И не тянет сеть, кроме волн, щедрот.

Надоест? Приливу не надоест.
Разве – море высохнет,
соль разъест.
Проникая в слова, забираясь в глубь,
воплотись мне тем же движеньем губ.
Дай умчаться щепой Троянской войны,
первозданной сути схлебнув с Луны.

Соловьиссимо

Голос в сонном лесу.
Как и не было яви.
И звенит, и звенит многокупольность куш.
Серой зелени тень испещрив соловьями,
на исходе луны – недосерпий растущ.

Ваши слезы сухие, над речкою трели!
Островок зеленой, да созвездия птах
промерцали в распеве сквозь май и доспели
до высоких высот в истомленных лучах.

Будто вами земля прибивается к небу,
будто брызги весны плавят сердце насквозь.
Песнь погибшей души, доплесни ты к Эрребу
тайносплохи звезд, тернолучия вслѣзь.

Неизъяснимости

Я тонких чувств хочу, нет – горечей сладимых.
О щебет, щебет, изводи луны терпенье!
Ах, облак тает, как щербет, ей в обнаженье,
И вянет хлад ее полнот неизгладимых.

И мы два зеркала, и лунный зайчик скачет
Средь параллельностей. Твое? Мое желанье?
Не угадать теперь. Экстаз перемолчанья
Нагую молнию под лунный лед упрячет.

О тонкость близкая, чья суть, блеснув, исчезла
В молчанья оттепель, под соловьиный морок...
Смотрю в глаза твои – зарок, что столь не зорок...
Мне цвет их – истина, приподнята дизезно.

Романс к X

Ретроградной звездой гороскопа страстей
прорвались твоих писем пять фраз.
И горчит даже соль, всё как цирк *Du Soleil*,
инда саднит, хоть слезы из глаз.

Разбежались сердца, зря я призрак воздвиг,
остров неги на – в линиях – длань.
Никаких обещаний, но слаще без них.
Появись. Или вновь перестань.

Нет, не вычерпать грусть. Распростившись навек,
сочинишь ли лекарство из слов?

Не срастись одеялом, иссыпав весь снег
сверх разлуки нетающих льдов.

Если что и спасет – паутина молитв.
Потеряться в ней, тая свечой.
И не чувствовать даже, щемит не щемит
воск в изножье. Лишь знай себе стой.

И останется высь, вся в колодцах лучей, –
или четках безудержных дыр?
Чем грустить напролом, распушу, как ручей,
облаков незакатный эфир.

Закатаю в туман безответную дрожь.
Всё же... Мысли читая, позволь
заплетать твое имя в рассеянный дождь,
осеняющий нашу юдоль.

Стояние звезды

Раз в жизни такое – косматых пород
звезды – вдруг чувствуешь: взгляд
подвис на тебе. Вот-вот соскользнет.
Флюиды в ночи бурлят.
В висок как лучи сошлись. Внеевклид?
Стряхнешь ли бремя планет?
Тех искр природа – страшно горит
души вещество. О, нет!..
Нет, после все то же, но слез вода
чуднее. В ней как бы соль.
Взамен на пресный кристаллик следа
тоски, обращенной в ноль.
О, мертвые слезы по тем, живым,
кому бы нибудь вернуть!
И все ж, стихов, обращенных в дым,
прекрасен лишь дым. Не суть.

Привыкни к мысли, что теорем
нельзя доказать в любви,
не потеряв ее.

Тяжек, нем,
тот взгляд был. И он в крови.

В Михайловском

Так вот о чем «в их сенях ветра шум»...
Михайловский пейзаж вплетен до точки
в поэзию. Отвсюду брезжа, строчки
расширились, как по команде *zoom*.

Так значит, правда – «нет, умру не весь».
Осенний гусь, что перешел на перья,
смотрел на тех, что к югу, без доверья.
«Мгновенья чудны» редки даже здесь.

Два лебедя, еще вы на виду.
А камера разряжена как будто.
Но вдруг снимает. Много. И вот тут-то
не знаю слов. Лишь вздох произведу.

Желтофиоль

Желта фиоль на вымышленном поле.
Тревоги мнимы, а чернил изрядно.
Не разобрать: педали сплошь, бемоли
и черепки разбитостей нарядных.

Цветок невзрачный зауми победной,
произнесу тебя я, не срывая.
К чему скрывать, что горечи безбредной
одной себе и говорю слова я.

Лиловый дым на флажолетах весен.
Лекарство-яд. Неужто станет много?
Сквози, луна, за силуэты сосен.
Мимоза грез. Виола-недотрога.

Ты то робка, в прозрачности немнимой,
то, загустев, строга и доминантна.
На пустоши тоски неуголимой
межа нелжи-неистины – биквантна,

как светофор без тормоза. Разлука
разлук покрылась коркой мозаичной.
Бестрепетной логистики излука
в системе чувств, компьютерно-двоичной.

Любовь-Друговь – тут нет превосходимей –
канву истычет жизни трафаретной.
И слов игра тем неперевоимей,
чем гуще сполох радуги двухцветной.

К диптиху Татьяны Виноградовой «Ласточки»

1

Турбулентная ласточка, в теплом краю твоих гнезд
распускаются шлейфы изодранных клочьями аур,
в этом ворохе шляпно-муаровом – розовый траур
и «Хочу!» одномерные лепятся звездам на хвост.

Элегичные линии ножниц, скользящих чрез край
равномерно прилипчивых выдохов – грань неприличья!
Заэфирный балет – новомодная скоропись птичья –
вышивает границу меж раем и тем, что раздрай.

Эта точка сверх света, где ножниц сближается шаг...
Обнаженнее танца с прозрачным седьмым покрывалом,
ты стрижешь фиолет, моя ласточка, в небе линиялом,
удержав эту тяжесть – мой взгляд – на покатых плечах.

Души райские ждут, ибо в гуще прогретых завес,
одинокств Зевесовых, зыбких колючих соцветий
всей-то жизни – твой клювик-ковчежец сырых междометий.
Ты летишь. Haute couture – в вечеряющем небе разрез.

2

Небо, жадно глотнувшее зелени,
приподнимется птичьим крылом.
Мать-и-мачехи блещут мамзелями,
асфоделями станут потом.

Чем не праздник изнывшего сущего,
всюду форму меняющий цвет.
Соловьев расплодилась тьма-тьмущая,
и рулады верней эполет.

И, как вешние звоны и запахи
разлепляют пространству края,
бдит Луна с неуместностью запонки.
И валькирии в цвет комарья.

Скачет сердце наперсточным шариком,
одурев от широт и щедрот!
Лишь клубится расплаканным маревом
бывший снег, бывший холод и лед.

Чье там счастье расплещется первое,
чья там туча всех ниже стоит?
Самый трэш, под цветение вербное –
невербальные знаки Планид.

* * *

Стихи что платья, вечно хочется новых.
Перешить из старого? Даже лень, – сойдет
для дремучей местности. Почитаешь готовых,
да и пишешь глупости, пара тонких не в счет.

Те, готовые, вечно не в размер и не в тему,
или я вся странная, как Алиса среди Сонь.
Подновленной кляксочкой наведу хризантему:
и чернил накушалась, и жива, не хоронь.

Нет, серьезно, бывает, что и Муза расплачется,
и вплетется в строчки что-то вроде души...
А примета верная – след слезы обозначится,
значит, просто стихи уже – не свои, не чужи.

Вот, сплошная эклектика. Хоть, как «ню», простая.
Пожалеть бы зеркало в помрачении льда.
Но без вороха слов разве кто узнает,
что под черной дырой угнездилась звезда?

Отречение

Без тебя, Божество мое грешное,
расплывается в небе звезда,
от которой все небо – нездешнее.
Я прощаю тебя навсегда.

Прокляни меня, нет, подними меня
ненавидимой черной луной...
Притяжения нет умолимее
этой ветоши сердца сквозной.

Ты забудешь. Души словно зановость
порастет тишиной изнутри.
О, молчания зыбкая занавесь.
Я прощаю. Сезам, отвори.

Ничего не осталось от прежнего,
да и негде свернуться в клубок.
Этой книжки всего безнадежнее –
те, старинные, несколько строк.

Уцелев пред Оккамовой бритвою,
безупречная тает звезда.
В давнем прошлом, все той же молитвою
я прощаю тебя навсегда...

Малостранское кладбище

Это здесь мерцала душа, становясь письмом.
Безнадежной надеждой, бабочкой сверх огня.
Этот почерк горел и тек, как не скажешь ртом,
словно мох сквозь камни, вращая в тебя, в меня.

Все, что будет – трамвай, трава, соловьи, слова, –
Малостранский остров запущенных вглубь корней
обтечет. Тональность правды поймать сперва,
и в дорожках кладбища грусть заплести живею.

Тут оазис сырого прощенья, ни дать, ни взять.
Тлеют времени нити, ветшают монастыри.
А на Старом еврейском горше – сухой, как «ять»,
концентрат безутешности. Вечный словарь внутри

Праги...

К Бессмертным

Вся уйди в молитву душа –
вымолить не дано.
Папино кресло. Лом от гроша
лунного. Свет в окно
только держал, гас и дрожал –
садик родных светил.
Хоть и приелся он, как вокзал, –
ближе стал из могил?

Корни страдания уходят в смерть.
Слишком для этих мест.
Зыбью внизу качается твердь
каменных туч окрест.
Тот, вверх ногами, жив телескоп,
в клавишах пепел цел.
Сны, как кошмар в кошмаре non-stop.
В небе свет не горел.

Ангел нейронный, скомканных бит
много успел скачать?
Знаешь, луна все же горит.
Музыке грех звучать.
Трудно орбиту выбрать черней,
жить этот вечный шок.
Где то письмо, рукою твоей:
«Все будет хорошо»?

Другой не будет никогда

Когда во внутреннем аду
гуляешь медленно по кругу,
мыча многоголосну фугу
звезде злодейской на беду,

так явно остывает свет,
усталостью, с твоей несхожей,
и очевидно, что под кожей
ее лоснящейся – скелет.

На ноль поделишь, и февраль
решенья сходится с ответом.
Страницы тонкой пируэтом,
весь флот отчаянья, отчалъ.

Нилова Пустынь

Как с колокольни виден дальний дождь:
рисунок-гриб над лесом на пунктире.
Печаль твоя, присушенная сплошь,
прорвется горем, тоже бранным в мире.

Учись, пока ты здесь. У паука,
что паутину сплел над облаками.
Лишь колокол смахнет ее слегка,
и тишина воспещет пустяками.

Глянь, отмели здесь угорь исчертил,
упорствуя. То выживанья тропы.
И выросли на мачты для ветрил
деревья монастырского укропа.

Здесь островки прозрачнее воды
и таинству сродни тумана клочья.
Цветов и пчел срастаются ряды,
а друзы роз – в зубчатом оторочье

из земляники. Чуден Селигер,
внимания стреноживая нети.
Подобья рая – каждый шаг – пример
раскаянья несбыточных соцветий.

Гадание о стихах

Их сдувают с влюбленного сердца,
эти строчки почти ни о чем,
и тогда открывается дверца
в тихий садик, увитый плющом,
и тебе говорят твое имя,
обрывая всех слов лепестки,
и ты плачешь слезами большими,

а светила сверх чувств высоки.
И стихи, за стихи заплетаясь,
устилают бессмысленный луг,
и ступает, травы не касаясь,
в облака твой возлюбленный друг.
О, сердечек кукушкины слезки,
как сказать вам, что стих – отболит?
Лишь быльем порастут отголоски
наших бедных заблудших молитв.

В разлуке

Пройти сквозь зеркало.
Остаться
вдвоем с собой.
А думать разное.
На йоту.
Как близнецы.
И там, за полночью,
вне страха,
под чернотой, –
и то ведь маешься
сдуванием пыльцы.
Да нет, я лучше,
я красивей, чем ты, двойник.
Я отстрадал свое и выше
твоих забот.
Ах, этот взгляд, еще
убитый – и напрямик.
Синхронизироваться б надо
наоборот.
Пробиться к яви,
расплескаться опять в лучи.
А мы межуемся. Две сущности,
хотя одна.

На старом зеркале
уходят трещины
в края ничьи.
Молчи, но – правду мне.
Луна ведь черная.
Ну, нет в ней дна.

Дриада

Вот теперь я красива,
 как дерево в полном цвету,
и с досады цвету и цвету.
И ревнует луна, неестественно желтым больна,
к ароматам моим – за версту.

Вот теперь, наглотавшись химических едких похвал,
я страдаю вдвойне.
Жалкий ранний мой цвет
ты – до одури ранний! – сорвал
и забыл по весне.

Что с того, что в слезах хороша и в листве,
и поет соловей
о глубоких корнях, о проявленной вглубь синеве
по сирени моей.

Ты узнал меня в дни неумной пустой болтовни
воробьев на ветру.
Что ж, от шарма того не осталось, мил-друг, ни-че-го.
Ту Богему-сестру

не найти даже в снах. Только в старых, отцветших холстах
я еще оживу.
Как прощенья прошу, все шарманку в душе ворошу,
на Монмартре-во-Рву.

Этюд

Словно в природе Шопена этюд,
градины в чашечки ландыша бьют.
О волшебство, мимолетное сплошь,
лилий долины звенящая дрожь.

Запах цветения неба достиг,
вот и пилюли, а капли сверх них –
с шорохом тают, и в горсть не схватить,
Все-все-все-все сразу вспомнить-забыть.

К картине Елены Березиной «Ирисы»

Сколько сияния в гордом бессилии
прятать изнанку Тосканы-бессонницы!
Стебли-офелии, крылья-одиллии,
радуга в радуге плещутся-полняются.

Пленная песнь, разрисованный ирисом
шелк заливчатый прозрачайшей тонкости –
вуалехвостка с причудливым вырезом,
Шахерезада лоснящейся томности.

Все вы – разрушенных чар привидения...
В сумерки серые, в час меланхолии
переиграть дымных струн отчуждение –
нет наслаждения горше и более.

Серые сумерки с днями смешаются,
ирис за ирисом, глаз заплетается.
О, чистокрылой души экзистенция,
Ирис за ирисом – где ты, Флоренция?

Коллеге в Питер

Е. Д.

Еще виток родной орбиты,
и вновь шампанская струя,
и одобрения от свиты, –
о Муза давняя моя,

стал силуэт твой – часть природы,
где ночь гуляет по ночам.
И дай нам Бог еще свободы
внимать незначащим речам.

Экспромт-подражание

Любовников связующие узы –
на соловьиной неге сладкой память,
печалью обновляемая. Музы
касания – пленительная камедь.

Черемухи щекотками обрамить
нещадных лун заснеженные друзья?
Истаявшего снега лишь слезами
томить навеки пройденные шлюзы...

О тонкие, навроде сердцerezки,
коленца соловьиные в повторах...
Зегзицей источаемые всплески
томлений неслианнее в притворах.

Рассвета кубок высохнет, и не с кем
избыть его. Сухих смятений ворох.

Сентенция

Как на полюсе южном – север, повсюду – Смерть.
И направо пойдешь, и налево, пляши иль стой.
Что до жизни – она короче. Чего б успеть?
И придумаешь даже, да смысл не такой простой.

Не успеть чего бы? Узнать о себе, что – тлен,
Тараканья лапка в спичечной серы цвет.
Пригубив погибели, той, что лекарства – нет,
Лишь твердить: гибеллины, гоблины, гобелен.

Бегство из Богемы

Пожалуй, в этом был какой-то морок:
настойка чувств на хлебе книжных корок.
Не помню, чтоб я плакала потом,
но повелась – увязла я тем летом
с предельной захрустальности поэтом
с лиловейшим харизмы лепестком.

Я все понять хотела, в чем тут фокус,
конкретно вбетонированный крокус.
«Живи со мной, смотри и повторяй».
...И тело, увенчавшись перманентом,
холодной речки нежилось фрагментом,
обещанный заслуживая рай.

То клянчу ключ от питерской квартиры,
хоть крест навьючу из нимфа и сатиры...
С доплытием в погожий Петергоф!
То пафос нерастраченной морали –
ночной показ: стриптиз в «Империале»
и кодою – моих неверных строф

стриптиз. Он, помрачнев, коснулся текста,
пластая нераскатанное тесто.

Тут муза горемычная моя
и возопи: «Всему же есть пределы!
терпела я, но пела, как уж спела,
корежась в партитуре бытия».

А утки плыли. Мостик отражался.
И сквозь струи камыш преображался.
Порою взгляд меняет сам предмет.
Я так и не нашла, чего искала,
забыла вирш, что правка искромсала.
Вода текла, чернил простыл и след.

Итожу я (тут можно в четверть слова):
ничтожное не стоит быть лилово.
О, спелой желторотости поэт,
рассыпья одуванчиком хоть всюду, –
до неба доцвестись... Дороги к чуду
молчания прозрачнее – нам нет.

Глицинии

Глядится в свое отражение
глициния в полном цвету.
Для пущего взглядоскольжения
луны бы набросить фату...

В тройной кисее бы запутаться
хотя бы обрывками фраз.
Годива ты или распутница?
О, странная ласка для глаз.

Лишь всплеск, и рассыпья на атомы,
в избыточной слабости – мощь.
Вселенными, в рифмы распятыми,
звонит запятых твоих дождь.

П Е Р Е В О Д Ы

Нарциссы

*из Уильяма Вордсворта
(William Wordsworth, 1770–1850)*

Один, как облако, в мечтах
Не замечая, что там – холм?
Долина?.. Вбрел я в гущу – ах! –
Нарциссов златоглазых. Сонм!..
Сквозил, порхая, хоровод
Меж зелени, вдоль плеска вод.

Как искр мерцающих светил
Без края полон Млечный Путь, –
Порыв мятежный танца был
Озерный берег с собой утянуть.
Все десять тысяч прелестных кивков
Мой взгляд вместил без оков.

От ветра воды рябью шли,
Нарциссы их перецвели.
Поэта грусть среди трепетных нег
Цветенья тает как снег.
Без мысли я смотрел и смотрел,
Не зная, чем завладел.

Частенько, дань отдавая хандре,
Зеваешь, лежа на старом одре.
Но вспыхнет вдруг волна за волной
Нарциссов в памяти рой.
И сердце согрето, словно бы пьет
Тех дней нарциссовый мед.

В мерцающей глуши музыки

из Дэвида Вонсбро
(David Wansbrough, 1948)

В мерцающей глуши музыки
я иду к своей сути и теряюсь навеки.
Вот он, наиблаженнейший
из даров Люцифера.

Мощный всплеск Баха
граничит с тантрой,
что пробивает звенящую дрожью
от копчика и до макушки,
распускаясь в зените
мантрой, сладостной Серафиму.

Это магия музыки:
мы на мгновенье
вождееем бесплотности
и, послушавшись эго,
покидаем себя.

Видение с лебедями

из Антуана де Сент-Амана
(Marc Antoine Girard de Saint Amant, 1594–1661)

Как передать вам души Ее пени?
Как, очарованы, лебеди плыли
В белых своих парусах оперений,
Гладь осеняя всплесками крылий.

Манна на длани лилейной девицы
Манит флотилию снега живого.

Фокус! Вся стая, не тая, двоится,
Зыблясь недвижимым образом снова.

Нет, не унять замешательства полного
Птиц. Не подплыть, не ломая картину
Зыби Ее отражения волнами,
Путь замедляющей даже дельфину.

Мери

из Галактиона Табидзе

(გალაკტიონ ტაბიძე, 1892–1959)

Мери. Ты стоишь у аналоя.
Ночь кругом. Ресниц единый вздрог
Молнией сквозь небо грозное.
Мери, сколько осени! – мой Бог...

Вся горела золотом природа,
И дрожало множество огней.
Только свеч венчальных хоровода
Ты была безмолвней и бледней.

Розы упоительные плыли
Высоко под купол огневой,
И молитвы сказанные были
Словно бы их вечною душой.

Мери, в этом сердце нет ответа,
Что́ был за венец, что так колюч.
Ты произнесла слова обета,
С ними догорел последний луч.

Кто швырнул кольцом алмазным оземь –
Чтоб забыть красавицу навек...
Только восковые длились слезы
Горячей, чем плачет человек.

Мери, я не смог остаться в храме.
Вырвался. Назад или вперед –
Разве ливень смоет это пламя
Чар твоих, иль ветер унесет?

Только дождь и ветер всю дорогу,
Лица лучезарного взамен.
Мери, к твоему пришел порогу
И без сил прижался к камню стен.

Вновь тогда листва зашелестела,
Горькая осинная листва.
Мнилось мне – орлиных, без предела,
Крыльев то прощальная молва.

Мери, я слышал только шелест.
Взмах, другой – и улетят гурьбой
Песни, что мечтались мне и пелись,
Все, где ты моей была судьбой.

Ты мне – озарение сквозь смуту.
Будь хотя мечтой, но срок пришел,
И мечта жила одну минуту,
Как уже летит за ней орел.

Стоило ли, небу доверяя,
Тонкие переплавлять лучи
В вирши, где земля царит сырая?
Что ж, хоть их запел теперь в ночи.

Куполом разлук навек застынут
Эти струи, бьющие плетьюми.
Плакал я, как старый Лир, покинут
Господом, всем небом и людьми.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>А. Тавров. Антология (не)вымышленного существа</i>	3
Цирк Безответности	7
Черновик романа	7
Сад зонтов	8
Париж мечты	8
“От жажды умираю над ручьем...”	8
Грифонам Марфино	9
Тень медузы	10
Воспоминание о вязе в Среднике	11
последнее прочти	12
Глуховская элегия	13
Сон	14
Ноктюрн	15
Silentia	15
Вальс-отъезд	16
Павлины на голом стволе магнолии	16
“О, пойдите на край земли...”	17
С птичьего	17
Розовый куст	18
В зрачке Байкала	19
Гитаночка	19
Полуденный туман	20
Элегия на снежинки, падающие в фонтан	21
Свидание при мертвых цветах	22
Соната	23
Соловьиссимо	23
Неизъяснимости	24
Романс к X	24
Стояние звезды	25
В Михайловском	26
Желтофиоль	26
К диптиху Татьяны Виноградовой “Ласточки”	27
“Стихи что платья, вечно хочется новых...”	28
Отречение	29
Малоостранское кладбище	30
К Бессмертным	30
Другой не будет никогда	31
Нилова Пустынь	32
Гадание о стихах	32
В разлуке	33
Дриада	34
Этюд	35
К картине Елены Березиной “Ирисы”	35
Коллеге в Питер	36
Экспромт-подражание	36
Сентенция	37
Бегство из Богемы	37
Глицинии	38
П Е Р Е В О Д Ы	
Нарциссы (из У. Вордсворта)	39
“В мерцающей глуши музыки...” (из Д. Вонсбро)	40
Видение с лебедями (из А. де Сент-Амана)	40
Мери (из Г. Табидзе)	41

СОЮЗ ЛИТЕРАТОРОВ РОССИИ
Библиотека альманаха «СЛОВЕСНОСТЬ»

Ингрид Кирштайн
БЕЗОТВЕТНОСТИ
Стихотворения

Книжная серия «Визитная карточка литератора»

Редактор — Евгений Степанов
Выпускающий редактор — Татьяна Виноградова
Художественный редактор — Яна Александриди
Корректор — Татьяна Смирнова
Компьютерная вёрстка — Марина Кива

Заказное издание

Бумага офсетная
Гарнитура Calibri
Тираж 100 экземпляров.
Сдано в набор 02.12.2013
Подписано в печать 10.12.2013

Издательство и типография
«Вест-Консалтинг»
109378, г. Москва, Есенинский бульвар,
д. 1/26, корп. 1, офис 34.
Тел. (495) 978-62-75